

исповедание новости.

— Я родился в 1938 году, москвич, вечный и постоянный. Технар — тоже постоянный, с детства. Почти всю жизнь литература и техника были для меня параллельными занятиями, только за одно платили, за другое нет. В середине 60-х годов опубликовал здесь несколько стихотворений. На этом все, едва начавшись, кончилось. Вернее, так: после Праги, после 1968 года, я сам решил, что здесь для меня кончилось.

Начиная с 1974 года писал прозу и всякую прочую филологию. Публиковался во многих западных журналах, у нас — в альманахе «Метрополь».

— Как вы пришли к прозе?

— Пожалуй, главным побудительным мотивом было ощущение за плечами какого-то особого пласта жизни, в литературе совершенно не отраженного. И дело тут не только в евреях. Я вообще не люблю, когда говорят, что меня занимает в прозе еврейская тема. Тема — жизнь, обстоятельства, люди, взаимоотношения. Но я пишу о том, что хорошо знаю. В конечном счете — только о себе, даже когда и не о себе, когда, допустим, о Маяковском. Кроме того, был боковой мотив: рассказать о том, о чем говорить нельзя. Может быть, это было не всегда плодотворно, но такое соображение существовало.

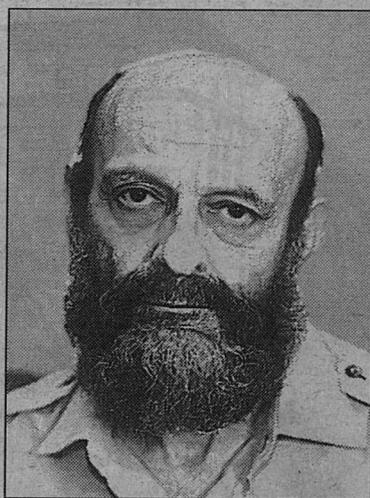
— В повести «Незабвенный Мишуна» вы описали посещение Лубянки. Какие проблемы были у вас в КГБ?

— «Колпак» я ощущал постоянно до 1986 года. Была непрерывная слежка, особенно жестко меня «вели» до появления «Метрополя». Для меня «Метрополь» явился легализацией: я-то был никому не известен, а тут присоединился к известной группе литераторов.

В КГБ на допросе я был только однажды. Меня взяли прямо с завода. Замечательно реагировали мои коллеги-работяги: никто не задал ни одного вопроса.

Разговор продолжался часа полтора-два. На столе у следователя лежали номера «Граней» с моими публикациями. Был номер и с отрывками из «Жизни Александра Зильбера», я их там впервые увидел, полистал. Следователь спросил: «А можно этот роман прочесть целиком?» Я ответил: «Можно, почему же нет». Он говорит: «А вы могли бы принести?» И я, балбес, сказал: «Да». — «Хорошо, тогда через неделю заходите». Я, конечно, через неделю никуда не пошел, проклял свое дурацкое обещание. Через две недели он позвонил: «Вот вы собирались прийти и не явились, вам что-то помешало или сами не захотели?» — «Сам не захотел». — «А почему?» — «Да незачем, нет у меня с вами никаких общих дел». — «Ну тогда мы с вами будем разговаривать иначе!» Больше, однако, никаких разговоров не было, но начались всякие демон-

ПАМЯТЬ



Это интервью с Юрием Карабчиевским поступило в редакцию уже после его трагического ухода из жизни.

Публикуя беседу, мы как бы создаем себе небольшую иллюзию продолжающегося участия писателя в нашей действительности, участия тем более необходимого, что так не хватает нам сегодня людей граждански уравновешенных, доброжелательных, социально ответственных, чутких.

Кажется, последним выступлением Юрия Карабчиевского в печати было его эссе в рубрике «Во мне» в номере 24-м «Московских новостей», в котором автор высказал вдруг поразившую его мысль о том, что наша протяженность в истории и не очень велика: одно-два поколения, а дальше — другая страна и другие люди. Может быть, и так. Но сам он еще близок, горечь утраты еще свежа, сказанное им еще тревожит и задевает за живое. Мир его светлomu праху. Послушаем, что волновало писателя совсем недавно.

страции. Звонит телефон, женский голос говорит мерзости. Теряешься: от мужика такое услышать, а тут женщина... На какое-то время отключают телефон. Документы у меня проверяли все эти годы даже у собственного подъезда, когда гулял с собачкой... Слава Богу, что все это пропало, сгинуло, но в общем-то, все

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ: ЖИЗНЬ ПЕРВИЧНА, СЛОВО ВТОРИЧНО

было правильно: каждый жил так, как выбрал, как сам захотел.

— В какую литературную традицию вы себя включаете?

— Понятно, что я сугубый кондовый реалист, с одной поправкой... Я для себя (условно, конечно) литературу делю на литературу как изделие и литературу как разговор. Я считаю, что литература как изделие — вещь совершенно необходимая, но все-таки вспомогательная. Она подготавливает почву и возможности для литературы как разговора. Если брать литературу профессиональную, высокого уровня, то для меня литература как разговор стоит на первом плане. Я для себя определяю суть работы как разговор с читателем — при минимальном расстоянии между ним и автором. Это совсем не противоречит тому, что читатель рассредоточен в пространстве и времени. Мне кажется, из этого парадокса и должно рождаться настоящее искусство. Вот чего я хотел бы. И не только для себя, но и от книг, которые читаю. Я вижу в развитии искусства, литературы в частности, тенденцию к предельной индивидуализации. Часто вспоминаю слова Шпенглера в «Закате Европы» о том, что в античном мире даже дневник был эпическим, а в фаустовское время даже эпос — дневниковым. Короче говоря, мне важен автор. Поэтому я очень настороженно отношусь к современной молодой прозе, хотя там есть замечательно талантливые люди... Идет волна литературы «плохих людей». Они на самом деле, может быть, не такие плохие. Как правило, они все образованные, умные... Но автор, возникающий за текстом, ужасен. Я такой литературы для себя не хочу, я бы охотно без нее обошелся...

— Кто из мира литературы на вас повлиял?

— Если отодвинуть XIX век, поскольку тут мы все вышли из одних и тех же «Шинелей», то для меня прозаик номер один послевоенного периода — Андрей Битов. Не так много людей, которые не просто написали хорошие книги, а что-то сделали в литературе. Вот он — сделал. Он не просто ввел какой-то прием или расширил лексику.

Куда ее можно расширить? Количество матерных выражений невелико, тут больших возможностей я не вижу... Вообще должен сказать в связи с матом, что у меня ощущение какого-то искусственного надрыва в

этой области. Я прожил в низах городского общества и не чурался этих выражений, но они даже в устной речи простонародья не занимают такого места, какое заняли в современной литературе. Это, на мой взгляд, бесплодно. Теряется иерархия слов, возможность новых акцентов, оттенков, потому что ведь это предел, тупик — сказал и дальше двигаться некуда...

Если же говорить о влиянии, то на меня, пожалуй, больше всего повлияла популярная советская литература. В молодости я только ее и читал, я ведь жил в ограниченном, замкнутом мире. Даже русскую классику стал читать позже, во вторую очередь. Я понимаю, что здесь открывается прекрасная возможность меня уличить: ага, понятно, в чем дело... Тем не менее было именно так: Аркадий Гайдар, Лев Кассиль, Вениамин Каверин (первая часть «Двух капитанов»), Вера Панова, Константин Симонов (как поэт, конечно)... Как ни странно, в этих книгах была попытка максимально приблизить к себе читателя. Там была лживая база, придуманные обстоятельства. Но были и непридуманные.

А потом уже Достоевский, которого я решительно предпочитаю Толстому, допустим. У Толстого я люблю маленькие вещи — «Холстомер», «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», но я не очень люблю его романы. Одно время я его вообще не принимал, потом стал перечитывать. Может быть, я еще изменюсь с годами, если успею. Очень мало времени осталось...

— Много ли вами написано, и что еще не издано?

— Написано немного на самом деле. Почти не напечатаны мои стихи. Не издана еще одна повесть. И все. До 1974 года я писал стихи, но с годами, поскольку они не публиковались, я их уничтожал. Наверное, это и к лучшему. Раз показалось, что баракло, значит — баракло. Помните, у Битова правило правой руки Митишатырева: если человек кажется сволочью, значит, он и есть сволочь.

— Об эмиграции в свое время задумывались практически все. Почему вы не уехали?

— Конечно, я много раз примерял на себя эмиграцию. Но я никогда не хотел эмигрировать. Я, видите ли, очень социальный человек. Это не значит, что мои произведения обязательно должны иметь некий социальный смысл. Просто есть не-

сколько совершенно необходимых мне связей, разрыв которых делает мое существование бессмысленным. Я должен жить жизнью своих читателей, я не могу обращаться к ним со стороны. Это во-первых. Во-вторых, все, что я делаю, — это в некотором роде репортаж с места событий. Как ни ценю я все и всяческие мысли, для меня на первом плане стоят ощущения. Жизнь для меня первична, а слово вторично, поэтому жизнь должна ощущаться всеми пятью чувствами. Если я себя устранию из среды, о которой пишу, я стану влюбленным бесплодным. Я всегда это чувствовал, четко не определяя, и убедился, пожив в Израиле.

— Сейчас проблема национальной самоидентификации оказывается в числе ведущих. Жизнь в Израиле сыграла для вас какую-то роль в этом смысле?

— Понятно, что я всегда себя чувствовал евреем, никогда не переставал себя им чувствовать. Но Израиль странная страна в этом отношении. Надо сказать, я очень привязался к Израилу. Я там жил трудной, совсем не туристской жизнью, передвигался пешком, потому что не было денег на автобус, с трудом зарабатывал, пытался найти любую работу. Я ходил по всяким конторам, чиновникам, в общем, жизнь была, как у репатрианта. Жизнь в стране, где ты житель, не гость. Там возникает паразитическое ощущение домашности, свойскости, очень теплая, уютная страна. Заманчива безопасность жизни, всеобщая доброжелательность, семейность. Я понимаю, почему люди туда уезжают и хорошо приживаются. Там просто ничего дурного с тобой не происходит. Ты можешь в любом городе без всяких предосторожностей ходить ночью, где угодно, с кем угодно общаться. Абсолютно безопасная, совершенно не враждебная жизнь, почти нет драк, это вещь редчайшая, хотя страна забита оружием... Здесь же я чувствую опасность повсюду, опасность и униженность. Я прошел по переходу в метро, стоят ребята с большими плакатами, надежно наклепанными на стену: «90% в репрессивных органах составляли люди одной национальности, угадайте какой». Я угадал...

Я думаю, сегодня ни одному еврею, погруженному в русскую культуру, в ней существующему, не уйти от ощущения доживания. По всей видимости, русское еврейство кончается. Многое кончается, мы вообще живем на границе эпох. Мне, доживающему, доживать больше негде, я должен и буду доживать здесь, если, конечно, не случится что-нибудь уж совсем чрезвычайное. Ощущение тягостное, горькое, мириться с ним трудно. Однако приходится...

18 апреля 1992 г.

Сергей ШАПОВАЛ